

ПРИЁМНЫЙ ПОКОЙ

ДЛЯ ПОТЕРЯННЫХ

роман

АЛЕКСЕЙ КОРНЕЛЮК



Не сдавайся пока не прочитаешь эти книги

Алексей Корнелюк

Приёмный покой для потерянных

«Автор»

2026

Корнелюк А.

Приёмный покой для потерянных / А. Корнелюк — «Автор»,
2026 — (Не сдавайся пока не прочитаешь эти книги)

Андрей привозит мать в больницу среди ночи и уверен, что это просто ещё одна чужая проблема, которую почему-то снова должен решать он. Приёмный покой пахнет хлоркой, дешёвым кофе и человеческим страхом. Мать увозят на обследование, Андрей остаётся ждать — злой, усталый, уверенный, что его жизнь испортили чужие просьбы. Но ночью больница меняется. На табло вместо номеров кабинетов появляются странные направления: «Кабинет недополученного», «Танцзал семейных обид», «Палата взрослых детей», «Отделение неустрашимого». Рядом оказываются люди, которые говорят не о болезнях, а о том, что болит глубже: о матерях, которых невозможно переделать; о словах, сказанных слишком поздно; о любви, похожей на обязанность; о вине, которая годами притворялась раздражением. За одну ночь Андрей должен понять: иногда близкого человека нельзя спасти, исправить или победить. Иногда его можно только наконец увидеть.

Алексей Корнелюк

Приёмный покой для потерянных

Приёмный покой для потерянных

В два часа семнадцать минут ночи телефон Андрея решил, что он пожарная сирена, церковный колокол и маленький злобный будильник, которому в детстве не покупали нормальных игрушек. Он завибрировал на тумбочке, сполз к краю, ударился о стакан с водой, стакан возмутился, вода плеснула на старую квитанцию за электричество, а Андрей открыл глаза с таким чувством, будто его не разбудили, а вытащили из сна за волосы. Сначала он подумал, что это будильник. Потом вспомнил, что будильник стоит на семь тридцать, потому что люди придумали работу, ипотеку и утренние совещания не для счастья, а чтобы было чем объяснить своё лицо в зеркале.

Телефон продолжал дрожать. На экране светилось: **Мама**.

Андрей посмотрел на имя и не взял трубку сразу. Не потому что был плохим сыном. Плохие сыновья, как ему казалось, вообще не смотрят на экран. Они спят себе спокойно, видят во сне море, премию на работе или женщину, которая не спрашивает: “Ты где?” Андрей же смотрел. Значит, он уже участвовал. В современном мире участие вообще часто начиналось с того, что ты раздражённо смотришь на имя человека и ждёшь, вдруг оно само исчезнет.

Телефон замолчал.

Андрей выдохнул.

Через три секунды он зазвонил снова.

— Да, мам, — сказал Андрей таким голосом, каким люди говорят “да, мам” в два часа ночи, когда ещё надеются, что речь пойдёт про случайно нажатую кнопку.

В трубке было дыхание. Не слова, не привычное мамино “Андрюш, ты спишь?”, потому что матери всегда задают этот вопрос ночью с таким невинным удивлением, будто человек в два часа семнадцать минут может красить забор или выбирать арбуз. Было дыхание. Короткое, сухое, с неприятным промежутком между вдохом и выдохом.

— Мам?

— Андрей... — сказала она.

И всё. Одно слово. Обычно мама произносила его имя целиком, с укором в последнем слоге, как будто “Андрей” было не имя, а официальный документ о невыполненных обязательствах. Сейчас в нём не было укора. И именно это окончательно испортило ночь.

Андрей сел на кровати. Ноги нашли тапки не сразу, потому что тапки у него жили собственной семейной жизнью и каждую ночь расходились в разные стороны. Один был у кровати, второй под стулом, где лежали джинсы, которые он обещал себе убрать ещё во вторник. Он зажёл свет, поморщился, будто лампа лично сообщила ему плохую новость.

— Что случилось?

— Мне... что-то нехорошо.

Эта фраза была из тех, которыми пожилые люди открывают дверь в катастрофу, но стесняются войти первыми. “Нехорошо” могло означать всё: давление, сердце, желудок, одиночество, страшный сон, плохо закрытое окно, конец света или то, что соседка Люба опять сказала что-то про его бывшую жену. У матери “нехорошо” было универсальным чемоданом. В него помещались таблетки, обиды, старые фотографии, коммунальные платежи и маленькая уверенность, что сын обязан по голосу понять, что именно лежит сверху.

— Давление мерила?

— Мерила.

— И?

— Высокое.

— Насколько высокое?

Мама замолчала. Андрей закрыл глаза. Он знал это молчание. Это было молчание человека, который не хотел говорить цифры, потому что цифры превращали тревогу в проблему, а проблему уже надо было решать. А пока цифры не названы, можно оставаться в благородной зоне “мне нехорошо”, где все вокруг виноваты, но конкретно никто ничего сделать не может.

— Мам, насколько?

— Двести десять.

— Ты скорую вызвала?

— Нет.

— Почему?

— Я тебя сначала набрала.

Андрей встал. Ему захотелось сказать: “Мам, ну зачем?” И он почти сказал. Слова уже выстроились у него во рту, аккуратные, злые, привычные. Они много лет там жили и знали дорогу. Но дыхание в трубке снова сбилось, и слова застряли. Не от нежности. Скорее от того, что даже раздражение иногда понимает: сейчас не его смена.

— Вызывай скорую. Сейчас. Я еду.

— Не надо, Андрюш. Ночь. Тебе завтра на работу.

— Мам, не начинай. Вызывай скорую.

— Может, само пройдет.

— Давление двести десять само не проходит. Оно не гость из ЖЭКа.

— Ты всегда грубишь.

— Я не грублю. Я одеваюсь.

— Ты скорую вызвала? — спросил он, застёгивая ремень.

— Сейчас.

— Не сейчас. Уже.

— Я не могу двумя телефонами одновременно.

— У тебя один телефон.

— Вот именно.

— Я сам вызову.

— Не надо. Я вызову.

— Мам.

— Что?

— Просто вызови.

— Мам, паспорт приготовь. Полис тоже.

— У меня всё на месте.

— Где?

— В папке.

— В какой папке?

— В нормальной.

У матери все папки были нормальные. Красная папка с документами на квартиру, синяя с врачами, прозрачная с тем, что “может пригодиться”, и ещё одна страшная папка, в которой документы размножались без участия человека. Андрей каждый раз клялся разобрать их, но после десяти минут среди пенсионных справок, гарантийных талонов на давно выброшенные чайники и анализов за две тысячи двенадцатый год начинал чувствовать, что это не папка, а археологический слой цивилизации, которая верила в печати.

— Всё, я выехал.

— Андрей.

— Что?

— Не гони.

Он хотел ответить: “Я на такси”. Но не ответил. Потому что в этом “не гони” было всё материнское сразу: тревога, привычка командовать, любовь, которая не умеет быть тихой, и глупая вера, что слово матери может регулировать скорость машины в ночном городе.

— Хорошо, — сказал он. — Ты только дверь открой, когда скорая приедет.

— Я не глухая.

— Я знаю.

— Ты говоришь так, будто я уже совсем.

— Мам.

— Всё, звоню.

Связь оборвалась.

Он погасил свет и вышел.

В подъезде пахло мокрой тряпкой, старым бетоном и чужой едой. На третьем этаже кто-то жарил лук ночью. Андрей всегда считал, что люди, жарящие лук ночью, должны проходить отдельную диспансеризацию. Лифт стоял на первом этаже и поднимался так медленно, будто размышлял о смысле вертикального перемещения. На стене кабины кто-то нацарапал слово “живи”. Андрей посмотрел на него и подумал, что в лифтах люди почему-то всегда пишут самые важные вещи почерком преступника.

Такси нашлось через четыре минуты. Четыре минуты ночью — это мало, если ты ждёшь пиццу, и много, если у матери давление двести десять. Приложение показало водителя Артура на белой “Шкоде”, две минуты. Потом три. Потом снова две. Андрей смотрел на экран и ненавидел маленькую машинку на карте так, как можно ненавидеть только пиксель, от которого зависит твоя человеческая пригодность.

Мама не звонила.

Он набрал сам.

Занято.

Такси подъехало. Водитель открыл окно.

— Андрей?

— Да.

Он сел назад. В машине пахло ёлочкой, кожаном и чужой усталостью. На панели стояла маленькая фигурка собаки с качающейся головой. Собака кивала так, будто заранее соглашалась со всем плохим, что произойдёт.

— Адрес верный? — спросил водитель.

— Да. Только быстрее, пожалуйста.

— Скорая?

— Мама.

— Понял.

Андрей смотрел в окно и думал, что мать выбрала, конечно, идеальное время. Днём у него было совещание с начальником, который умел говорить “давайте честно” перед каждой ложью. Завтра надо было сдавать отчёт. Точнее, уже сегодня. Он не закончил половину таблиц, потому что вечером читал новости, потом смотрел ролики про людей, которые переехали к океану и теперь работают три часа в день, потом ненавидел этих людей, потом себя, потом решил лечь пораньше. В итоге лёг в час.

Мать всегда заболела не вовремя. Правда заключалась в том, что болезнь вообще редко сверялась с календарём. Но Андрей почему-то принимал это лично. Как будто у вселенной была отдельная папка с его расписанием, и вселенная ехидно выбирала самую неподходящую ячейку.

Телефон завибрировал.

— Да, мам.

— Скорая едет, — сказала она.

- Хорошо. Дверь открыла?
- Открыла.
- Ты где?
- На кухне.
- Не ходи туда-сюда.
- Я не хожу.
- Сиди.
- Я сижу.
- Таблетки какие пила?
- Капотен.
- Сколько?
- Одну.
- Когда?
- Не помню.
- Мам, как можно не помнить?
- Андрей, мне нехорошо, я не протокол веду.

Вот это была она. Его мама. Лидия Павловна. Женщина, которая могла забыть, когда выпила таблетку, но никогда не забывала, что в шестом классе он вышел на улицу без шапки и потом кашлял. Женщина, которая хранила в морозилке укроп в пяти пакетах, потому что “зимой пригодится”, и при этом каждый раз забывала пароль от личного кабинета поликлиники. Женщина, которая научила его читать, ругаться с сантехниками, не доверять красивым обещаниям и завязывать шарф так туго, что у ребёнка оставался выбор: быть здоровым или дышать.

- Скорая скоро будет, — сказал он. — Я тоже.
 - Не надо было тебе ехать.
 - Мам, пожалуйста.
 - Что?
 - Просто дождись.
- Она замолчала.
- У меня в прихожей пакет стоит, — сказала вдруг.
 - Какой пакет?
 - С вещами.
 - Мам, тебе плохо, а ты пакет собрала?
 - Ну не голой же ехать.

Он хотел сказать, что в больницу не едут на модный показ. Но представил её маленький пакет у двери. Наверняка там ночная рубашка, старые тапочки, салфетки, зарядка, таблетки, которые нельзя смешивать, яблоко, потому что “вдруг проголодаешься”, и что-то для него. Обязательно что-то для него. Носки, печенье, баночка варенья, пакетик чая. Мать могла ехать с давлением двести десять, но всё равно думать, что сын ночью останется голодный и холодный. И от этой мысли Андрею стало хуже, чем от всех её упрёков.

- Хорошо, — сказал он. — Пакет возьмём.
- Там тебе батончик.
- Мам.
- Что?
- Не надо мне батончик.
- Ты ночью ничего не ел.

Он открыл рот, чтобы возразить, и закрыл. Потому что возражать против батончика в пакете у больной матери — это была уже не самостоятельность, а какой-то мелкий моральный дефолт.

— Спасибо, — сказал он.

Она опять задышала неровно.

— Андрей?

— Да.

— А ты не злишь.

— Я не злюсь.

Это было неправдой. Но бывают ночи, когда правда должна немного подождать в коридоре, как все остальные.

— Злишься, — сказала мама. — Я же слышу.

Конечно, она слышала. Матери слышат злость даже там, где сын тщательно завернул её в заботу, как невкусную таблетку в хлебный мякиш. Они слышат всё, что касается них, и почти ничего из того, что им пытаются объяснить.

— Я просто переживаю.

— Ты когда переживаешь, становишься как твой отец.

Вот теперь он действительно разозлился.

— Мам, давай не сейчас.

— А когда?

Вопрос был простой. Настолько простой, что на него не нашлось приличного ответа. “Когда у тебя будет нормальное давление”? “Когда я выплыву”? “Когда мы оба станем другими людьми”? “Когда прошлое согласится вести себя тише”?

— Скорая приехала? — спросил он вместо ответа.

В трубке послышался звонок в дверь.

— Кажется, да.

— Открывай.

— Я открыла же.

— Тогда иди.

— Не командуй.

— Мам!

— Всё, иду.

Связь снова оборвалась.

Водитель посмотрел в зеркало, но ничего не сказал. Собака на панели перестала кивать и замерла на середине движения, как будто даже ей стало неловко.

— Старики, — сказал водитель через минуту, не поворачиваясь. — Они такие. Моя мать тоже сначала умирала, потом ругалась, что я шапку не надел.

— Ей сколько?

— Было семьдесят шесть.

Андрей почувствовал, как в машине стало теснее.

— Извините.

— Да чего. Давно уже. Она до последнего командовала. В реанимации лежит, трубки везде, а мне глазами показывает: застегни куртку. Я говорю: “Мам, у тебя аппарат пищит”. А она мне бровями: “Куртку”. Я застегнул. Аппарат успокоился.

Водитель усмехнулся, но в голосе у него не было веселья. Была такая старая нежность, которую мужчины часто хранят в самом неудобном месте — между бронёй и горлом.

Андрей ничего не ответил. Он не любил разговоры с незнакомцами о смерти. У смерти и так была дурная привычка становиться ближе, когда её упоминают. Но водитель больше не продолжал. Только прибавил скорость там, где дорога стала свободной.

Дверь в мамину квартиру была открыта.

В прихожей стояли мужские ботинки скорой, знакомые мамины тапочки и тот самый пакет. Клетчатый, старый, с облезлой ручкой. Пакет выглядел бодрее всех.

— Ну вот, — сказала мама, увидев Андрея. — Прилетел.

Слово “прилетел” прозвучало почти с удовольствием. Как будто она всё-таки доказала миру: сын у неё есть. Пусть злой, пусть небритый, пусть в свитере, надетом наизнанку, но есть.

Фельдшерка подняла взгляд.

— Вы сын?

— Да.

— Документы соберите. Паспорт, полис, выписки, какие есть. Давление высокое, ритм не очень. Повезём.

— Куда?

Она назвала больницу.

Андрей кивнул, хотя название ничего ему не сказало. Больницы для людей делились на две категории: “там нормально” и “туда лучше не попадать”. Причём мнение об одной и той же больнице зависело от того, чей знакомый там однажды лежал, выжил ли он, и принесли ли ему вовремя гречку.

— Мам, где паспорт?

— В папке.

— В какой?

Фельдшерка посмотрела на него с лёгким сочувствием, как человек, который уже видел тысячи сыновей перед папками.

— В серванте, — сказала мама. — В синей.

— Синяя у тебя с анализами.

— Значит, в красной.

— Красная с квартирой.

— Андрей, не спорь с больным человеком.

Парень-медик кашлянул, пряча улыбку. Андрей пошёл в комнату.

Он нашёл папки в серванте. Синюю, красную, прозрачную, зелёную. Открыл синюю. Анализы. Красную. Квартира. Прозрачную. Гарантия на микроволновку, умершую в прошлом году. Зелёную. Паспорт. Полис. СНИЛС. Старые выписки. И фотография.

Он положил фотографию обратно. Быстро, будто украл что-то.

На кухне фельдшерка уже помогала матери встать.

— Тапочки нормальные взяла? — спросила мама у Андрея.

— Взял.

— Зарядку?

— Взял.

— Батончик?

— Мам, я возьму твой батончик.

— Он без сахара.

— Прекрасно.

— Невкусный, правда.

— Тогда особенно нужен.

На площадке третьего этажа приоткрылась дверь. Выглянула соседка Люба, в халате и с лицом ночного информационного агентства.

— Лидочка? Что такое?

— Да давление, — сказала мама почти бодро. — Ничего страшного.

Люба перекрестилась так быстро, будто ставила подпись.

— Господи, держись.

— Держусь, — сказала мама. — Ты цветы мои завтра посмотри.

— Посмотрю, посмотрю.

Андрей хотел сказать: “Какие цветы, мам?” Но не сказал. Потому что люди, которых увозят ночью на скорой, имеют право думать о цветах. Может быть, даже больше, чем все остальные.

У подъезда мама остановилась на секунду. Посмотрела на мокрый двор, на окна, на скамейку, где днём сидели пенсионерки, на тёмный магазин напротив.

— Холодно, — сказала она.

— Сейчас в машину.

— Ты застегнись.

Андрей посмотрел на свою куртку. Она действительно была расстёгнута.

Фельдшерка помогла матери сесть в скорую. Андрей полез следом, но парень-медик придержал его.

— Вы за нами езжайте. В салон сопровождающего нельзя, места мало.

— Я сын.

— Понимаю. За нами.

Мама повернула голову из салона.

— Андрей.

— Я тут.

— Пакет не забудь.

Он поднял пакет.

— Не забуду.

— И свет выключил?

— Выключил.

— В ванной тоже?

— Да.

— А газ?

— Мам, у тебя электрическая плита.

Она хотела что-то ответить, но фельдшерка закрыла дверь. Скорая мигнула синим и тронулась.

— Ты езжай, Андрюша, — сказала она. — Мать одна.

Он кивнул. Хотел сказать что-то вежливое. Не сказал. Вызвал такси до больницы.

Пока машина ехала, он стоял под козырьком и смотрел, как следы скорой растворяются на мокрой дороге. Клетчатый пакет оттягивал руку. Андрей поставил его на лавочку, расстегнул молнию. Сверху лежала ночная рубашка. Потом тапочки. Потом салфетки. Потом пакет с таблетками. Потом яблоко. Потом тот самый батончик без сахара. И ещё носки. Мужские. Новые. Серые.

Он достал их и несколько секунд смотрел.

Он сунул носки обратно.

Такси подъехало. Уже другой водитель. Уже другая машина. Уже другая маленькая ночь внутри большой.

Андрей сел, назвал больницу и уставился в телефон. На экране было несколько рабочих сообщений, одно рекламное уведомление, погода на завтра и пропущенный от бывшей жены недельной давности, на который он так и не ответил. Он перевернул телефон экраном вниз.

— Срочно? — спросил водитель.

Андрей хотел сказать: “Не знаю”.

Но мужчинам сорока одного года не положено отвечать водителям так длинно. Особенно ночью. Особенно с пакетом матери на коленях.

— Мать увезли, — сказал Андрей.

Водитель кивнул и включил поворотник.

— Доедем.

И они поехали через ночной город к больнице, где в приёмном покое пахло хлоркой, дешёвым кофе и тем особенным человеческим страхом, который никто не признаёт, пока его не вызовут по фамилии.

Глава 2. Талон номер 001

Больница появилась неожиданно. Большое серое здание за забором, мокрый асфальт, жёлтые окна, вывеска “Приёмное отделение”, которая светила так, будто устала ещё до его рождения. У входа стояли две скорые. Третья, мамина, как раз подъезжала к пандусу. Всё вокруг было мокрым: ступени, поручни, стены, лица людей под козырьком. Больницы ночью всегда кажутся не зданиями, а огромными животными, которые дышат через автоматические двери. Внутри у них тепло, светло и пахнет так, что сразу хочется стать здоровым задним числом.

Такси остановилось. Андрей расплатился, схватил пакет и вышел. Скорая уже раскрыла задние двери. Фельдшерка говорила с охранником, парень-медик вытаскивал складное кресло. Мама сидела внутри, маленькая в своём пальто, и смотрела прямо перед собой с выражением человека, который не хотел никого беспокоить, но уже беспокоил целое учреждение.

— Мам, я тут, — сказал Андрей, подходя.

— Я вижу, — ответила она. — Пакет взял?

— Взял.

— Документы?

— Взял.

— Ключи?

— Тоже.

— А у меня свет в прихожей...

— Выключил.

— Ты точно?

Андрей показал ей связку ключей, как свидетель предъявляет вещественное доказательство.

— Мам, если я сейчас скажу “точно” третий раз, меня примут уже в психиатрию.

Фельдшерка усмехнулась. Мама тоже попыталась, но лицо у неё быстро осело. Смешок не дошёл до конца, застрял где-то в груди и превратился в морщину.

— Голова кружится? — спросила фельдшерка.

— Немного.

— Сейчас посадим, не геройствуйте.

— Я не геройствую, — сказала мама тем тоном, каким всю жизнь геройствовала.

Автоматические двери открылись. На Андрея пахнуло больницей.

— Фамилия? — спросила регистраторша, не поднимая глаз.

— Ковалёва, — сказала фельдшерка. — Лидия Павловна. Давление двести десять на сто десять, аритмия, жалобы на слабость, головокружение, боли...

— Документы.

— Телефон родственника?

— Мой, — сказал Андрей.

— Номер.

Он продиктовал.

— Адрес проживания пациентки?

— Там в паспорте.

Регистраторша впервые подняла глаза.

— Молодой человек, если бы я всё читала в паспорте, вы бы тут встретили рассвет, пенсию и второе пришествие. Адрес.

— Подпишите, — сказала регистраторша.

— Что? — Андрей вздрогнул.

— Согласие на обработку персональных данных.
Она подвинула бумагу.
Он подписал.
— Сейчас врач посмотрит, — сказала регистраторша.
— Когда? — спросил Андрей.
— Как освободится.
— У неё давление было двести десять.
— Я записала.
— Ей плохо.
— Тут всем плохо, молодой человек. Это не фитнес-клуб.
— Что? — спросил он резче, чем хотел.
— Ничего, — сказала она. — Просто люблю, когда родственники думают, что если они повторяют диагноз громче, врач прибежит быстрее.
— Я не думаю.
— Уже хорошо. Значит, есть шанс.
— Тамара Ильинична, — сказала регистраторша, не отрываясь от экрана. — Не заводите.
— Я? Да я же цветочек. Просто с шипами, возрастное.
Медсестра подошла к маме, наклонилась.
— Лидия Павловна, голова кружится?
— Немного.
— Тошнит?
— Нет.
— Боль в груди?
— Сейчас нет.
— Хорошо. Сейчас давление перемерим, кардиограмму сделаем. Сын ваш?
Мама посмотрела на Андрея. В её взгляде мелькнуло что-то вроде извинения. Или гордости. Или обе эти вещи сразу, потому что матери умеют смешивать несовместимое лучше любого бармена.
— Сын.
— Вижу. По лицу. У обоих выражение: “мы тут ненадолго, вы просто быстро всё исправьте”.
Андрей хотел возмутиться, но мама вдруг слабо улыбнулась.
— Он хороший, — сказала она.
Тамара Ильинична посмотрела на него внимательнее.
— Хороший — это не диагноз. Но жить можно.
— Спасибо, — сказал Андрей сухо.
— Не благодарите раньше времени. Ночь длинная.
Она взялась за ручки кресла.
— Документы у вас?
— У меня, — сказал Андрей.
— Пакет тоже у вас?
— Да.
— Тогда садитесь пока вон туда. Как понадобится — позовут.
— Я с ней пойду.
— Не пойдёте.
— Почему?
— Потому что там осмотр, кардиограмма и люди работают. Вы им будете мешать переживать профессионально.
— Я могу помочь.

— Милок, если бы родственники помогали одним своим присутствием, у нас бы смертность падала от количества родственников в коридоре. Сядьте.

Слово “милок” она произнесла так, что оно прозвучало не ласково, а как диагноз лёгкой формы бесполезности. Андрей почувствовал, как внутри поднимается привычное: я приехал, я всё бросил, я не спал, я имею право. Но мама посмотрела на него и чуть качнула головой. Не спорь. Он ненавидел, когда она так делала. Ненавидел, что слушался.

— Я буду рядом, — сказал он ей.

— Я знаю, — ответила мама.

И тут в этих двух словах было больше доверия, чем он заслуживал.

Тамара Ильинична увезла её по коридору. Кресло скрипело. Мамины тапочки в пакете стучали друг о друга. Андрей остался у стойки с документами в руке и внезапно почувствовал себя человеком, который пришёл на вокзал провожать поезд и обнаружил, что билет был не у него.

— Молодой человек, — сказала регистраторша.

— Да?

— Паспорт заберите. И пакет с окошка уберите, пожалуйста. Вы мне тут торговую точку открыли.

Он забрал документы, пакет, отошёл к стене. Сидячих мест почти не было. Два пластиковых стула занимала женщина с иконой и её сумка. Ещё три — парень с разбитой бровью, его плачущая девушка и мужчина в спортивных штанах, который уже не спорил, а сидел, наклонившись вперёд, обеими руками держась за живот. У окна стоял автомат с кофе. Большой, серый, с яркой наклейкой “КАПУЧИНО. ЛАТТЕ. ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД”. На наклейке чашки выглядели так, будто в них наливали счастье. Андрей знал: внутри будет жидкость цвета мокрого картона, которая пахнет сахаром, пластиком и корпоративной безысходностью. Но человеку в приёмном покое нужно что-то держать в руке. Если не руку матери, то хотя бы стаканчик плохого кофе.

Он подошёл к автомату. На экране мигало: “Выберите напиток”. Андрей выбрал американо. Автомат задумался. Потом издал звук, будто внутри него умирал маленький принтер. Стаканчик упал криво, кофе полился мимо, прямо в поддон. Андрей смотрел на это молча. Автомат бодро сообщил: “Спасибо за покупку”.

— Да не за что, — сказал Андрей.

— Он первый стакан всегда мимо льёт, — произнёс кто-то рядом.

Это был старик с каталки. Вернее, уже не на каталке — его пересадили в кресло у стены, укрыли одеялом. Худой, с жёлтоватым лицом и большими ушами. На голове вязаная шапка. В руках он держал старый кожаный кошелек, будто тот мог подтвердить его личность лучше паспорта.

— Почему? — спросил Андрей.

— Характер. У техники тоже характер бывает. У людей тем более, но технику хотя бы чинят.

Андрей посмотрел на автомат.

— И что делать?

— Второй братъ. Он уже проснулся.

Андрей сунул ещё монеты. На этот раз стаканчик встал нормально. Кофе потёк туда, куда должен был, хотя выглядел всё равно как административное наказание.

— Видите, — сказал старик. — С людьми так же. Первый раз часто всё мимо.

— А второй?

— А второго может не быть.

Старик сказал это спокойно, без театра. И отвернулся к телевизору, который висел под потолком и показывал ночной выпуск новостей без звука. По экрану бегала строка о погоде,

аварии, каком-то заседании и пользе диспансеризации. Люди в приёмном покое смотрели на телевизор, но не видели. В больнице вообще много вещей, на которые смотрят, чтобы не смотреть на главное.

Андрей взял стаканчик. Кофе обжёг пальцы через картон. Он вернулся к стене, поставил пакет у ноги и стал пить. Вкус был такой, будто кофе когда-то слышал о кофе от дальнего родственника, но связь прервалась. Зато горячий. Иногда этого достаточно. Большая часть взрослой жизни, если честно, держится не на счастье, а на “зато горячий”.

Он достал телефон. Написал начальнику: “Меня ночью увезли с матерью в больницу. Утром, возможно, задержусь”. Перечитал. Слово “увезли” относилось к матери, но выглядело так, будто увезли их обоих. В каком-то смысле так и было. Он стёр “возможно”. Поставил точку. Отправил.

Ответ пришёл почти сразу. Начальник не спал. Разумеется. Начальники, ипотека и тревожные матери не спят тогда, когда ты особенно надеешься, что они спят.

“Понял. Держи в курсе. По отчёту тогда что?”

Андрей посмотрел на сообщение и почувствовал странное спокойствие. Не злость даже. Просто ясность. Где-то в мире его мать сейчас снимала кардиограмму, а человек по другую сторону экрана хотел знать, что по отчёту. И это не делало начальника чудовищем. Это делало его начальником. У каждого своя патология.

Он написал: “Отчёт позже”.

Три точки на экране появились, исчезли, появились снова. Потом начальник прислал: “Ок”.

Самое страшное в рабочих переписках — это когда человеческая трагедия помещается между “понял” и “ок”. Но и это, наверное, тоже не зло. Просто мир не умеет останавливаться для каждого. Он продолжает идти, хромя, жуя, печатая, оплачивая парковку, спрашивая про отчёт, пока ты сидишь в приёмном покое с пакетом матери.

— У вас кто? — спросила женщина с иконой.

Андрей не сразу понял, что она обращается к нему.

— Мама.

— Сердце?

— Давление. Ритм. Не знаю ещё.

Женщина кивнула так, будто диагноз “не знаю ещё” был ей хорошо знаком.

— У меня муж. Упал. Просто шёл на кухню и упал. Такой человек был, — она поправила икону на груди, — всю жизнь ничего не ронял. Даже ложки. А тут сам.

Андрей не знал, что ответить. “Держитесь” было слишком дешёвой монетой для такого разговора. “Всё будет хорошо” — преступлением против логики. “Понимаю” — враньём. Поэтому он просто кивнул.

Женщина, кажется, и не ждала ответа.

— Я ему сегодня сказала: не ешь селёдку на ночь. У него давление. А он: “Нина, не командуй”. Я говорю: “Да кто тобой командует, ешь свою селёдку, герой”. Он съел. Потом упал. И вот теперь я сижу и думаю: зачем я ему про селёдку сказала? Как будто последняя фраза человеку — это про селёдку.

Она засмеялась коротко и тут же прижала пальцы к губам.

Андрей посмотрел на неё и вдруг увидел не женщину с иконой, не чужую тётку в пуховике, а человека, который сидит рядом со своей последней фразой и не знает, куда её деть. У каждого в приёмном покое был свой пакет. У кого-то клетчатый с тапочками. У кого-то невидимый, набитый словами, которые теперь невозможно переиграть.

— Она не последняя, — сказал он.

Женщина посмотрела на него.

— Вы не знаете.

— Не знаю.

— Вот именно.

И в этом “вот именно” не было злости. Только усталость человека, который за последние два часа несколько раз успел договориться с Богом, поссориться с ним и снова начать переговоры.

Из коридора вышла Тамара Ильинична. Андрей сразу выпрямился.

— Как она?

— Живая, — сказала медсестра. — Уже неплохо для начала.

— Что с ней?

— Врач смотрит. Кардиограмму сделали. Давление снижаем. Анализы взяли.

— Можно к ней?

— Пока нет.

— Почему?

— Потому что “пока нет” — это полный ответ.

— Я просто хочу знать.

— Все хотят знать. У нас тут знаете сколько желающих знать? Можно кружок открывать.

“Родственники, желающие знать”. Чай, печенье, паническая атака по расписанию.

— Вы всегда так разговариваете?

— Нет. Иногда хуже. Когда выплусь.

Она посмотрела на его стаканчик.

— Кофе пьёте?

— Пытаюсь.

— Не пытайтесь. У нас автомат не для кофе. Он для смирения.

Тамара Ильинична уже собиралась уйти, но остановилась.

— Пакет матери ваш?

— Да.

— Не теряйте.

— Я не маленький.

— Маленькие как раз держат крепко. Теряют взрослые. Они думают, что у них всё под контролем.

Она сказала это без нажима, почти мимоходом. Но Андрей почувствовал, как фраза зацепилась за кожу. Он наклонился и поставил пакет ближе к ноге.

— А долго ждать? — спросил он.

— Милок, вы в приёмном покое. Здесь время не идёт. Оно сидит рядом и делает вид, что не слышит.

Она ушла.

Андрей остался стоять с кофе в руке. За стеклянной дверью коридора мелькали белые халаты, каталки, чьи-то ноги, экран монитора с зелёной линией. Где-то пищал аппарат. Где-то кашляли. Где-то спорили. Мама была там, за поворотом, в мире, куда его не пустили. И это было неожиданно унижительно: его сорок один год, его паспорт, его работа, его способность платить налоги и ругаться с управляющей компанией ничего не значили перед простой больничной дверью.

Он сел наконец на освободившийся стул. Пакет поставил между ног, как ставят багаж на вокзале. Стаканчик — на подоконник. Голова начала болеть от света. Тело вдруг вспомнило, что оно спало час с небольшим, потом бегало по лестницам, мерзло, пило плохой кофе и держалось только на раздражении. Раздражение вообще удобное топливо. На нём можно далеко уехать. Проблема в том, что когда оно заканчивается, ты оказываешься посреди дороги без заправки.

Дверь в коридор открылась. Вышел врач. Молодой, худой, с усталыми глазами и маской, спущенной под подбородок. Он держал планшет.

— Родственник Ковалёвой Лидии Павловны?

Андрей вскочил так резко, что пакет упал набок.

— Я.

— Состояние стабильное, давление снижаем. Есть нарушения ритма, будем наблюдать. Сейчас нужно сделать дополнительные анализы и, возможно, КТ, чтобы исключить осложнения. Пока она останется у нас.

— Это опасно?

Врач посмотрел на него. В этом взгляде не было ни грубости, ни тепла. Только усталый профессиональный отказ от простых ответов.

— Потенциально — да. Сейчас мы делаем всё необходимое.

— Я могу к ней?

— На пару минут. Не больше. Не волнуйте её.

Андрей чуть не сказал: “Я не волную”. Но даже он понял, насколько это было бы нелепо.

— Мам, — сказал Андрей тихо.

Она открыла глаза.

— Батончик съел?

Он выдохнул. Почти засмеялся. Почти.

— Съел.

— Невкусный?

— Ужасный.

— Я же говорила.

Она выглядела слабой, но в голосе на секунду вернулась она прежняя. Победившая батончик, давление, врачей и ночную панику одним “я же говорила”.

Андрей сел на край стула рядом. Врач что-то проверил и вышел, оставив их на эти самые пару минут. Две минуты рядом с больным человеком — странная единица времени. За две минуты нельзя исправить жизнь. Нельзя объяснить детство, развод, раздражение, редкие звонки, отца, обиды, все несказанные слова, которые копятся между людьми, как пыль за шкафом. За две минуты можно только сидеть и пытаться не испортить хотя бы их.

— Ты как? — спросил он, потому что всё равно сказал глупость.

— Лучше. Только голова мутная.

— Врач сказал, понаблюдают.

— Ты не сиди тут всю ночь.

— Посижу.

— У тебя работа.

— Подождёт.

— Работа не ждёт.

— Тогда пусть учится.

Мама посмотрела на него внимательно. Её глаза были усталые, но ясные. В них было что-то, чего он боялся больше упрёков: благодарность.

— Ты злой, когда боишься, — сказала она.

Андрей хотел ответить шуткой. Что-то про семейную традицию, про папу, про плохой батончик, про больничный кофе. Шутка уже была рядом, привычная, удобная. Можно было спрятаться в неё, как в подъезд от дождя.

Но он не успел.

Дверь открылась. Вошла Тамара Ильинична.

— Всё, сын, свидание окончено. Не театр юного зрителя.

Андрей встал.

— Я рядом, — сказал он матери.

— Пакет не потеряй, — прошептала она, не открывая глаз.

— Не потеряю.

Он вышел в коридор. Тамара Ильинична шла рядом, неся под мышкой папку.

— Нормальная она у вас, — сказала вдруг.

— Мама?

— Нет, клетчатая сумка. Конечно, мама.

— Она сложная.

— Все матери сложные. Простых матерей выдают только в рекламных роликах про майонез.

Андрей не ответил.

— И вы сложный, — добавила она.

— Спасибо.

— Да не за что. У вас это семейное, видимо.

Они дошли до двери в общий зал. Тамара Ильинична толкнула её плечом.

— Сидите. Если что — позовём.

— А если не позовёте?

Она посмотрела на него спокойно.

— Тогда сидите всё равно.

Он вернулся на своё место. Пакет поставил рядом. Кофе на подоконнике остыл. Батончик оставил сладковатую горечь во рту. Табло мигнуло. Свет на секунду дрогнул, будто вся больница моргнула от усталости.

Андрей сел, положил локти на колени и впервые за ночь не взял телефон.

На табло высветился номер 21.

Потом 22.

Потом цифры мигнули, расплылись, и Андрею на секунду показалось, что вместо них появилось другое слово.

Он моргнул.

Снова были цифры.

Он потёр лицо ладонями. Конечно, цифры. Просто усталость. Просто ночь. Просто больница. Просто мать на обследовании. Просто плохой кофе, невкусный батончик и клетчатый пакет у ноги.

Просто жизнь внезапно стала слишком большой, а он слишком маленьким, чтобы держать её одной рукой.

— Не звонит? — спросил старик в шапке.

Андрей повернул голову. Старик сидел всё там же, закутанный в одеяло. У него было лицо человека, который давно перестал обижаться на неудобства и теперь изучал их как погоду. В руках он всё ещё держал кожаный кошелёк.

— Кто?

— Кто должен. В больнице всегда кто-нибудь должен звонить. Или врач, или дочь, или совесть.

— Врач не звонит. Дочери нет. Совесть занята.

— Хорошая у вас совесть. Работящая.

Андрей усмехнулся.

— А у вас кто?

— У меня? — старик посмотрел на свой кошелёк. — Никого. Меня сосед привёз. Сказал: “Петрович, ты как-то нехорошо зелёный”. Я говорю: “Валера, у тебя телевизор старый, он всех зелёными показывает”. А он всё равно скорую вызвал. Вот теперь сижу, доказываю медицине, что Валера плохо разбирается в цветопередаче.

— А родственники?

Старик пожал плечами.

— Есть. В теории. Сын в Краснодаре. Дочь в Подмоскowie. Внуки в интернете.

— В смысле?

— В прямом. Если включить телефон, они там все красивые, живые, с собаками, с морями, с тортами. А если выключить — тишина. Раньше, когда люди далеко жили, хотя бы честно далеко. А теперь вроде рядом, в кармане. Только потрогать нельзя.

Андрей не нашёл ответа. Старик и не ждал.

— Мать у вас строгая? — спросил он.

— Сложная.

— Это дети про матерей говорят “сложная”. Сами матери про себя так не думают. Они думают: “Я нормальная, это жизнь такая”.

— Может быть.

— У меня жена была сложная. Сорок два года сложная. Потом умерла, и оказалось — простая. Просто мне с ней жить было трудно, а без неё ещё труднее.

Андрей посмотрел на него. Старик поправил одеяло на коленях.

— Вот такая математика. В школе не учат.

Из коридора донёсся глухой стук каталки. Кто-то тихо застонал. Женщина с иконой проснулась и сразу начала креститься, ещё не до конца открыв глаза, как будто её тело за годы научилось делать это без участия сознания. Парень с разбитой бровью сидел рядом с девушкой. Они молчали, но теперь молчание у них было другое: не ледяное, а осторожное, как тонкий лёд на луже. Девушка держала в руках его телефон, он — её сумку. В некоторых парах обмен вещами заменяет извинение. Иногда это даже честнее слов.

Андрей поднялся и пошёл к автомату с кофе. Не потому что хотел кофе. Он просто больше не мог сидеть. Человеку кажется, что он не выдерживает информации, но чаще всего он не выдерживает её отсутствия. Информацию можно встретить, переварить, возненавидеть, начать с ней спорить. Отсутствие информации — это пустая комната, где твоя фантазия ходит в обуви по паркету.

Автомат мигнул экраном. На этот раз Андрей выбрал чай. Автомат задумался, потом выдал кипяток с лёгким воспоминанием о лимоне. Андрей взял стаканчик и поставил рядом с первым, остывшим. На подоконнике уже образовалась маленькая выставка его беспомощности: один недопитый кофе, один чай, батончик без сахара, документы матери, телефон. Не хватало только таблички “Мужчина, 41 год. Жалобы на невозможность контролировать реальность”.

У стойки регистрации появился мужчина в костюме. Странное зрелище для трёх часов ночи: костюм был дорогой, мокрый на плечах, галстук ослаблен, лицо белое, губы сжаты. Он держал в руках букет. Не цветы в пакете из супермаркета, а настоящий букет, большой, с лентой. Ночью в приёмном покое букет выглядит почти неприлично. Слишком празднично для места, где люди ждут анализов.

— Мне сказали, сюда привезли Елену Михайловну Грачёву, — сказал мужчина регистраторше.

— Документы.

— Я муж.

— Я за вас рада. Документы.

— У меня её паспорт дома. Я приехал сразу.

— Тогда ждите.

— Я должен её увидеть.

— Все должны.

— Вы не понимаете.

Регистраторша подняла глаза. Медленно. В её взгляде было столько ночных смен, что мужчине следовало бы сразу сесть.

— Молодой человек, здесь все думают, что именно их я не понимаю. Это нормальное состояние для приёмного отделения. Садитесь.

Мужчина открыл рот, закрыл, оглянулся. Свободных мест не было. Он остался стоять с букетом, который вдруг стал выглядеть жалко. Андрей отвернулся, но всё равно слышал, как мужчина набрал чей-то номер.

— Маша, я в больнице... Нет, не пускают... Да, с цветами... Потому что я идиот, Маша, вот почему с цветами.

Он говорил тихо, но в приёмном покое тихие фразы иногда слышнее громких. Может быть, потому что громкими тут уже никого не удивишь.

Он вернулся к стулу. Пакет стоял на месте. Это почему-то успокоило. Андрей сел, подтянул его ближе и снова полез внутрь. Он уже не искал ничего конкретного. Просто перебирал вещи, как человек, который трогает предметы близкого, пока самого близкого нет рядом. Ночная рубашка. Тапочки. Таблетки. Салфетки. Яблоко. Носки. Маленькая бутылка воды. И в боковом кармане — старая записная книжка.

Он не знал, что она там делает. Книжка была тонкая, в мягкой облезлой обложке с цветами. Мама пользовалась такими всю жизнь: записывала телефоны врачей, рецепты, долги соседки, когда поливать рассаду, какие таблетки пить утром, какие вечером, и непонятные фразы вроде “позвонить про занавеску”. Андрей открыл наугад. Почерк у матери стал крупнее, чем раньше. В детстве он казался ему красивым, уверенным, наклонённым вправо, как человек, который точно знает дорогу. Теперь буквы расплзались, дрожали, путались.

На первой странице было написано: “Давление”. Дальше цифры по датам. 150/90. 160/95. 145/85. Потом: “Спросить у врача про сердце”. Потом: “Андрею не говорить, занят”.

Андрей закрыл книжку. Потом снова открыл, как будто строчка могла измениться от повторного взгляда.

Не изменилась.

В горле стало сухо. Он глотнул чай. Чай был горячий, водянистый и беспомощный. Вполне подходящий напиток для этой секунды.

— Плохо? — спросил Петрович.

Андрей посмотрел на него.

— Что?

— Лицо у вас стало как у человека, который нашёл не тот анализ.

— Записку нашёл.

— Это иногда хуже.

Старик кивнул на книжку.

— Матери любят записывать. Моя записывала, сколько я ел. Представляете? Мне сорок лет, я пришёл к ней с женой, с ребёнком, а она в блокнот: “Витя суп ел плохо”. Я ей говорю: “Мам, я начальник цеха”. А она: “Начальник цеха, а суп ешь плохо”. И всё. Против такой логики страна бессильна.

Андрей невольно улыбнулся.

— А потом? — спросил он.

— Потом умерла. А я нашёл её блокнот. Там было: “Витя устал. Купить ему мёд”. Я тогда мёд ненавидел. До сих пор стоит банка. Уже засахарилась. Выкинуть не могу. Есть тоже не могу. Так и живём втроём: я, банка и материнская забота с истёкшим сроком годности.

Он сказал это почти весело. Но Андрей уже начал понимать, что в приёмном покое люди часто говорят “почти весело” там, где иначе придётся лечь рядом со своей болью и попросить простыню.

— Вы сыну звонить будете? — спросил Андрей.

Петрович посмотрел на кошелёк.

— Не знаю. Он спит, наверное.

— Сейчас три ночи.

— Вот именно. Что он сделает? Приедет, будет сидеть, злиться, что я старый. Я и сам знаю.

— Может, он не будет злиться.

— Будет. Хороший сын обязательно злится. Плохой вообще не приезжает. А хороший приезжает и злится, потому что ему страшно. Только хорошим сыновьям кажется, что злость — это доказательство плохости. Они глупые. Весьма.

Андрей хотел возразить, но не смог. Петрович поправил шапку.

— Позвоню утром. Если будет кому.

Он снова открыл переписку с Катей. Написал: “Я в больнице с мамой. Страшно”. Посмотрел на слово “страшно”. Палец завис над отправкой. Слово было слишком голое, неприличное. Он заменил его на: “Не очень понятно, что будет”. Получилось солиднее и мертвее. Он стёр всё. Положил телефон.

Нет, не сейчас. Катя не обязана быть ночным окном для его страха. Он сам когда-то закрыл это окно, очень обстоятельно, с объяснениями, взаимными претензиями и разделом посуды. Нельзя потом стучать туда в три ночи только потому, что в твоей квартире стало темно.

Он сел. Пакет поставил рядом. Открыл мамину записную книжку ещё раз, но теперь не стал читать про давление. Листнул дальше. Там были рецепты: “суп с чечевицей”, “пирог быстрой”, “Андрей любит сырники без изюма”. Он усмехнулся. Он не любил сырники без изюма уже лет двадцать. Точнее, он вообще редко ел сырники. Но в маминой голове существовал Андрей, который любил сырники без изюма, носил серые носки, мог простудиться без шапки и нуждался в батончике ночью. Этот Андрей был младше, понятнее, лучше. Возможно, мама любила именно его, потому что с нынешним было трудно. Нынешний отвечал коротко, работал много, приезжал редко и говорил “мам, давай потом”.

Он листнул ещё. На последней исписанной странице было: “Позвонить Андрею в воскресенье. Не забыть спросить, как спина. Не говорить про давление.”

И ниже, другой ручкой: “Может, приехал бы на суп.”

Андрей закрыл книжку.

Телефон завибрировал. Андрей схватил его слишком быстро. Сообщение от Кати.

“Ты не спишь? Почему-то проснулась. Нашла твои документы. Завтра могу передать.”

Он смотрел на экран. В обычный день он бы написал: “Давай потом”. Или “Ок”. Или вообще ничего. Сегодня фраза “ты не спишь?” была как странное совпадение, почти неприличное.

Он набрал: “Я в больнице. Маму увезли ночью.”

На этот раз не стёр.

Ответ пришёл почти сразу.

“Господи. Что случилось?”

Он написал: “Давление. Сердце. Пока смотрят.”

Катя: “Ты один там?”

“Да”, — написал он.

Катя: “Позвони, если нужно.”

“Спасибо”, — написал он.

И всё. На большее сил не было.

Тамара Ильинична вышла из коридора и поманила его рукой. Андрей вскочил.

— Что?

— Тише. Не пожар. Мать вашу переводят на наблюдение. Пока без ухудшений. Врач позже подробнее скажет. Можете не бегать глазами, она жива.

— Я могу её увидеть?

— Сейчас спит. Не надо. Дайте человеку поспать, раз уж сын наконец рядом и не требует отчёта.

Он кивнул. У него вдруг подкосилась какая-то внутренняя распорка. Не облегчение даже. Скорее организм понял, что прямо сейчас падать не обязательно, и сразу захотелось лечь.

— А мне что делать?

Тамара Ильинична посмотрела на него. Вопрос прозвучал слишком детски, и оба это услышали.

— Сидеть. Спать, если получится. Молиться, если умеете. Не умеете — тоже сидеть. Разницы меньше, чем люди думают.

— Я не усну.

— Все так говорят. Потом храпят и просыпаются с лицом, будто их жизнь украли вместе с курткой.

Она указала на ряд стульев у дальней стены.

— Там посвободнее. Пакет под голову не кладите, мать потом спросит, почему тапочки мятые.

— Она и правда спросит.

— Конечно. Поэтому не рискуйте.

Табло над дверью показывало 27.

Потом 28.

Потом 29.

Табло мигнуло.

Потом цифры поплыли. Андрей моргнул. Вместо номера на секунду возникли буквы. Он не успел прочитать. Или успел, но мозг отказался принимать. Он выпрямился, протёр глаза. Табло снова показывало 30.

— Устал, — сказал он сам себе.

Он закрыл глаза ещё раз. Только на минуту. Просто чтобы не смотреть на свет. Просто чтобы дать глазам отдохнуть. Просто чтобы не думать.

Где-то рядом прошуршали шаги. Может, Тамара Ильинична. Может, санитарка. Может, кто-то ещё.

— Андрей Ковалёв, — сказал голос из динамика.

Он открыл глаза.

Табло над дверью горело ровным жёлтым светом.

На нём больше не было цифр.

Там было написано:

РЕГИСТРАТУРА ПОТЕРЯННЫХ

А ниже, мелким шрифтом:

ОСНОВНАЯ ЖАЛОБА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Андрей сел прямее. Посмотрел вокруг. У стойки регистрации сидела та же женщина с котятками на календаре. Только котята на календаре теперь смотрели не радостно, а так, будто тоже что-то знали. За соседним стулом стояла Тамара Ильинична. В руках у неё была пачка талонов.

— Ну что, милоч, — сказала она. — Дождались.

— Чего?

Она оторвала один талон и протянула ему.

На талоне было напечатано: **001**.

— Себя, — сказала Тамара Ильинична. — Обычно это дольше всего.

Глава 3. Регистратура недополученного

Андрей смотрел на талон с номером 001 и пытался найти в происходящем нормальное объяснение. Нормальное объяснение всегда должно где-то быть. Человек устроен так: если ночью в больнице на табло вместо цифр появляется “Регистратура потерянных”, он не сразу думает, что попал в странное место между жизнью и собой. Сначала он думает: устал. Потом: лампы мигают. Потом: переутомление, стресс, плохой кофе, батончик без сахара, давление у матери, недосып, этот старик Петрович со своими банками мёда, Тамара Ильинична с локтём профессионального значения. Мозг цепляется за любую версию, в которой мир ещё не окончательно сошёл с ума. Потому что если мир сошёл с ума, надо что-то делать. А если ты просто устал, можно потерять лицо и посидеть ещё пять минут.

Он потёр лицо.

Надпись не исчезла.

РЕГИСТРАТУРА ПОТЕРЯННЫХ ОСНОВНАЯ ЖАЛОБА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Тамара Ильинична стояла рядом и держала пачку талонов так буднично, будто каждую ночь раздавала людям номера к самим себе. На ней был тот же белый халат, тот же серый свитер под ним, те же удобные сабо. Только в кармане халата теперь торчала не ручка, а маленький фонарик с жёлтым стеклом, похожий на игрушечный маяк. В обычной больнице такие вещи не торчат из карманов медсестёр. В обычной больнице из карманов торчат ручки, салфетки, перчатки, чужие просьбы и усталость.

— Это что? — спросил Андрей.

— Талон, — сказала Тамара Ильинична.

— Я вижу, что талон.

— Уже неплохо. Некоторые и этого не видят. Сидят с талоном в руке и кричат, что их никто не вызвал.

— Я имею в виду, что происходит?

— Регистрация.

— Чья?

— Ваша.

— Я не пациент.

Тамара Ильинична посмотрела на него почти с нежностью. Почти — потому что у неё нежность, видимо, проходила через внутренний фильтр сарказма и выходила уже в медицинских тапках.

— Милок, это любимая фраза всех пациентов. Особенно тяжёлых.

— Я сопровождающий.

— Конечно. Все тут кого-то сопровождают. Маму, мужа, ребёнка, бывшую любовь, неудачный характер, жизнь, которая пошла не туда. Только потом выясняется, что привезли всё-таки себя.

Он хотел ответить, но не успел. Из динамика снова раздался голос. Не женский и не мужской. Такой голос мог бы быть у старого лифта, если бы лифты однажды научились читать человеческие досье.

— Номер ноль-ноль-один. Окно первое. Основная жалоба обязательна.

— Я не пойду, — сказал Андрей.

— Пойдёте.

— Почему?

— Потому что вас вызвали.

— И что?

— В больнице, милоч, есть два закона. Первый: если вызвали — идёшь. Второй: если не вызвали — сидишь и делаешь вид, что не боишься.

— А если я уйду?

Тамара Ильинична кивнула в сторону автоматических дверей.

— Уходите.

Он махнул рукой перед датчиком. Ничего.

Он подошёл ближе. Двери стояли, как два вежливых отказа.

— Может, датчик сломался, — сказал он.

— Конечно, — отозвалась Тамара Ильинична. — Вселенная любит начинать мистические события с поломки датчика.

— Это не смешно.

— А я и не смеюсь. Я экономлю вам время. Окно первое.

Андрей сжал талон. Бумага была плотная, тёплая, будто её только что достали из чьей-то ладони. На обратной стороне было напечатано: **“Не выбрасывать до окончания приёма. Повторная выдача себя не производится.”**

У окна он остановился.

Регистраторша подняла на него глаза.

— Фамилия?

— Ковалёв.

— Имя?

— Андрей.

— Возраст?

— Сорок один.

— Не уверены?

— Уверен.

— По лицу не скажешь.

— Спасибо.

— Это не комплимент. Основная жалоба?

— У меня нет жалобы.

Регистраторша перестала печатать. Посмотрела на него поверх очков. Очки у неё появились внезапно. До этого, кажется, их не было. В таких местах предметы, видимо, тоже получали роли по ходу пьесы.

— Молодой человек, вы сейчас находитесь в приёмном покое для потерянных. Над вашей головой висит табло. В руке у вас талон. На талоне номер. Рядом с вами стоит Тамара Ильинична, которая в плохих случаях молчит, а в совсем плохих начинает шутить. И вы хотите сказать, что у вас нет жалобы?

— Я привёз мать.

— Это обстоятельство. Жалоба?

— Ей плохо.

— Это её жалоба.

— Я за неё переживаю.

— Это уже теплее. Но не основная.

— Я хочу знать, что с ней, — сказал он.

— Это потребность. Жалоба?

— Почему вы говорите как психолог?

— Потому что если я буду говорить как регистратор, вы начнёте ругаться. А мне сегодня лень.

— Я не понимаю, чего вы от меня хотите.

— Наконец-то. Запишем: “не понимает”.

Она напечатала что-то. Принтер под столом кашлянул и выплюнул лист. Регистраторша даже не посмотрела на него.

— Жалоба?

— Хорошо, — сказал он. — Жалоба такая: я устал. У меня мать в больнице. Я не спал. Я не знаю, что с ней. На работе завал. Начальник спрашивает про отчёт, когда я сижу в приёмном покое. Бывшая жена пишет в три ночи, как будто специально. Врачи ничего толком не говорят. Ваша медсестра издевается. Кофе отвратительный. Табло показывает какую-то ерунду. Двери не открываются. И все ведут себя так, будто это нормально.

Регистраторша печатала быстро. Очень быстро. Её пальцы стучали по клавиатуре так, будто она давно ждала, когда он наконец перестанет изображать из себя человека без жалоб.

— Продолжайте.

— Что продолжать?

— Вы только начали.

— Нет, я закончил.

— Это у вас, может, на совещаниях работает. Тут нет.

Андрей усмехнулся. Нервно.

— Вы хотите, чтобы я пожаловался?

— Нет. Я хочу, чтобы вы нашли, на что жалуетесь на самом деле. Разница большая, но мужчины часто экономят на ней силы.

— Я жалуюсь на ситуацию.

— Ситуация не подлежит госпитализации. Она всегда с вами. Дальше.

— Это сон, — сказал он.

— Возможно.

— Я сплю на стуле.

— Очень может быть.

— Значит, это неважно.

Регистраторша сняла очки.

— Молодой человек, самые важные вещи с человеком чаще всего происходят именно тогда, когда он уверен, что “это неважно”. Свадьба начинается с “просто распишемся”. Развод — с “пока поживём отдельно”. Болезнь — с “само пройдёт”. Старость родителей — с “они ещё крепкие”. Одиночество — с “мне так удобнее”. Так что не надо нас тут утешать.

Андрей замолчал.

— Они тоже... — начал Андрей.

— Все по записи, — сказала регистраторша.

— А моя мать?

— Ваша мать сейчас там, где ей положено быть. А вы здесь, где вам давно пора.

— Мне надо к ней.

— Вам надо к себе. К ней вы всё равно не умеете.

Вот это было уже слишком.

— Вы меня не знаете.

— Это вы себя не знаете. Мне достаточно анкеты.

— Какой ещё анкеты?

Она подвинула ему лист через нижнее окошко. Лист был обычный больничный бланк, только вопросы на нём были неправильные.

Анкета первичного приёма потерянного

Кого вы считаете виноватым в том, что устали?

Когда последний раз вы говорили близкому человеку правду без обвинения?

Чего вы ждёте от матери до сих пор?

Что вы называете заботой, когда хотите контролировать?

Что вы называете свободой, когда просто сбегаете?
Какая фраза застряла у вас в горле дольше всего?
Сколько лет вы доказываете, что вам никто не нужен?
Внизу было место для подписи.

Андрей перечитал вопросы. Потом ещё раз. Вопросы были наглые. У вопросов вообще есть особая наглость, когда они точные. Нет ничего более бестактного, чем точный вопрос.

— Я не буду это заполнять.

— Не заполняйте.

— Тогда?

— Будете сидеть здесь, пока не сможете. У нас ожидание круглосуточное.

— Мне нужно знать, что с матерью!

— Вы это уже говорили. Давайте внесём в повторяющиеся жалобы.

Регистраторша снова начала печатать.

— Ладно, — сказал он. — Виноватых много.

— Отлично, — оживилась регистраторша. — Начало положено.

— Мать, например.

— За что виновата мать? — спросила регистраторша.

— За многое.

— Конкретнее. “Многое” у нас не проходит по форме.

— Она всю жизнь тревожилась. За всё. За меня, за деньги, за здоровье, за погоду, за то, что я не в шапке, за то, что я в шапке не той толщины. Она лезла. Давила. Обижалась. Заставляла чувствовать себя виноватым. У неё всегда было “я же мать”. Знаете, сколько можно этим “я же мать” закрывать человеку рот?

Регистраторша печатала.

— Дальше.

— Она не верила, что я справлюсь. Всё время советовала. “Не увольняйся”. “Не связывайся”. “Подумай”. “Будь осторожнее”. “А вдруг не получится”. А потом удивлялась, что я ничего не делаю.

— Дальше.

Андрей вдохнул. Слова пошли легче. Опасно легче.

— Она делала вид, что помогает, но на самом деле привязывала. Каждая помощь потом становилась долговой распиской. Суп, деньги, звонки, лекарства, “я для тебя всё”. А ты потом стоишь и не понимаешь: ты сын или вечный должник?

— Дальше.

— Она сравнивала меня с отцом. Постоянно. Стоило мне не ответить, уйти, закрыться — всё, “ты как отец”. Отец умер, но она продолжала бить им как тапком по столу.

— Дальше.

— Она... — Андрей остановился.

В груди было горячо. Не от чая. От того, что он говорил вещи, которые много лет лежали внутри плохо закрытыми банками. И теперь крышки начали слетать одна за другой.

— Она что? — спросила регистраторша.

— Она состарилась.

Регистраторша перестала печатать.

Андрей услышал собственный голос и понял, что злость вдруг провалилась. Под ней оказалось что-то мягкое, вязкое, страшное.

— Она состарилась, — повторил он тише. — Как-то без спроса. Раньше она была... ну, мать. Неприятная иногда, громкая, сильная, обидчивая. А теперь сидит на кухне в пальто поверх ночной рубашки и не может вспомнить, когда выпила таблетку. И я злюсь на неё за это тоже. Хотя это совсем уже...

Он не договорил.

Регистраторша смотрела на него спокойно.

— За что злитесь?

— За то, что теперь с ней надо быть осторожным.

— А раньше?

— Раньше можно было спорить.

— Вам не хватает права спорить с сильной матерью?

Андрей хотел сказать “нет”. Но “нет” не поднялось. Лежало где-то на дне.

— Может быть.

— Запишем: “мать перестала быть удобным противником”.

Она напечатала.

— Это звучит ужасно.

— Зато честно. Честность часто плохо звучит. Поэтому её и заменяют приличными формулировками.

Он опёрся ладонью на стойку. Стекло было холодным.

— Я не хочу, чтобы она умерла, — сказал он.

Регистраторша не печатала.

— Это жалоба?

— Не знаю.

— Это страх. Жалоба рядом.

— Я не хочу, чтобы она умерла, пока я на неё злюсь.

Регистраторша медленно кивнула.

— Уже ближе.

— К чему?

— К основной жалобе.

Андрей усмехнулся. Горло было сухим.

— Вы издеваетесь?

— Нет. Издевательство — это когда человек сорок лет думает, что его главная проблема в том, что его не понимают. А потом выясняется, что он сам почти никого не слушал. Мы тут только оформляем.

Она протянула руку.

— Анкету.

— Я не заполнил.

— Вы устно. У нас принимают любые формы запущенных случаев.

Она взяла лист, хотя он оставался пустым. Положила его в принтер. Принтер загудел. Андрей смотрел, как бумага проходит внутрь. Через несколько секунд аппарат выплюнул другой лист.

Регистраторша взяла его, поставила печать и подвинула к окошку.

— Первичный диагноз.

Андрей не хотел смотреть. Конечно, посмотрел.

— Идите, — сказала она. — А то потом всё равно вызовут. Только уже когда вы будете старый и злой.

— Я уже, кажется, — сказал Андрей.

— Нет. Вы пока просто злой.

И она снова посмотрела на свой рисунок.

Он повернулся к левому коридору.

КАБИНЕТ НЕДОПОЛУЧЕННОГО

А ниже, совсем маленько:

Перед входом оставьте надежду получить это от тех, кто сам не имел.

— Красивая табличка, — сказал Андрей.

— Да, — сказала Тамара Ильинична. — Только читать её обычно поздно.

Он пошёл.

Каждый шаг звучал слишком громко. Пакет бил по ноге. Где-то позади регистраторша снова спрашивала кого-то: “Основная жалоба?” Кто-то отвечал: “Я просто за мужем”. Регистраторша вздыхала: “Следующий”.

Он оглянулся. Тамара Ильинична стояла в начале коридора. Маленькая, крепкая, настоящая. Как последний человек из обычного мира.

— Тамара Ильинична.

— Что?

— Это закончится?

Она подумала.

— Всё заканчивается, милоч. В этом и беда, и спасение.

Андрей открыл дверь.

И вошёл туда, где люди годами ждали того, чего им никто не собирался выдавать.

Кабинет недополученного оказался совсем не кабинетом. Андрей почему-то ожидал увидеть что-то официальное: стол, врача, стул для пациента, шкаф с папками, может быть, женщину в белом халате, которая спросит: “На что жалуетесь?” — и начнёт ставить галочки напротив его детских травм. Но за дверью было просторное помещение, больше похожее на старый пункт выдачи багажа, который кто-то устроил внутри больницы после конца света и перед началом ремонта. Под потолком висели лампы с жёлтым больничным светом. У стен стояли металлические стеллажи. На стеллажах — коробки, пакеты, свёртки, детские игрушки, старые письма, шарфы, дневники, грамоты, фотографии в рамках, пустые банки, школьные портфели, посуда, ботинки, засохшие букеты, плюшевые медведи с одним глазом и аккуратно перевязанные стопки невидимо тяжёлых вещей. На каждой полке была табличка. **“Похвала, которую не дали вовремя.” “Защита, которую перепутали с контролем.” “Разрешение ошибаться.” “Фраза: я тобой горжусь.” “Фраза: это не твоя вина.” “Фраза: езжай, я справлюсь.” “Фраза: ты можешь жить свою жизнь.”**

Андрей остановился у входа и почувствовал почти физическое желание развернуться. Не испуг. Испуг был бы понятнее. Испуг — это когда на тебя бросается собака или врач выходит с серьёзным лицом. А тут было другое: ощущение, что его привели в место, где лежат вещи, которые он всю жизнь делал вид, что давно выбросил. Но они не выбросились. Они лежали на полках. Аккуратно. Подписанные. Как в хорошем архиве. У боли вообще, как выяснилось, был отличный учёт.

В центре помещения тянулась очередь. Люди стояли тихо, без скандалов и вздохов. Это настораживало. Очереди, в которых люди не возмущаются, всегда означают, что они пришли не за справкой. Они пришли за тем, по чему давно устали плакать. У каждого в руках был номерок. У кого-то — предмет. У девочки с красной резинкой был рисунок. У мужчины в дорогом костюме — школьная грамота с помятым углом. У пожилой женщины — мужской шарф. У молодой женщины — маленький детский ботинок, хотя самой ей было лет тридцать пять. У полного мужчины в спортивной куртке — пустая стеклянная банка с этикеткой “мёд”, и Андрей сразу подумал о Петровиче, но это был не он.

Она достала из-под стола небольшую картонную коробку. Самую обычную. Такие коробки остаются после обуви, старых игрушек, ненужных проводов и переездов, когда человек думает, что упаковывает вещи, а на самом деле упаковывает версию себя, к которой уже не вернётся. На крышке коробки было написано: **“Андрей Ковалёв. Недополученное. Родительское отделение.”**

Почерк был мамин.

Андрей сразу это понял. И сразу не захотел понимать.

— Откройте, — сказала женщина.

— Нет.

— Хорошо.

— И что?

— Тогда стойте.

— Долго?

— Сорок один год уже стоите. Ещё немного выдержите.

Он посмотрел на коробку. Она была перевязана серой резинкой. На уголке пятно, похожее на след от чая. Или времени. Вещи, которые слишком долго ждут, обычно чем-то испачканы.

— Это сон, — сказал он.

— Допустим.

— Значит, я могу не открывать.

— Конечно. Многие так и делают. Просыпаются, идут на работу, покупают кофе, звонят матери через неделю, когда уже можно говорить только о лекарствах. Очень удобная система. Андрей снял резинку.

В коробке лежали вещи. Немного. Слишком мало для сорока одного года, но слишком много для одной ночи.

Первая — маленькая деревянная машинка с отломанным колесом. Андрей узнал её не сразу. Потом узнал. Ему было лет пять. Отец обещал починить. Не починил. Мама сказала: “Ну хватит уже, нашёл из-за чего реветь”. Он перестал реветь. Не потому что стало легче. Потому что понял: реветь из-за машинки стыдно. Потом оказалось, что стыдно реветь из-за всего. Очень удобно, если хочешь вырастить мужчину, который умеет держаться и не умеет просить.

Вторая — школьный дневник за шестой класс. На развороте стояла пятёрка по литературе и подпись учительницы: “Андрей написал очень сильное сочинение”. Ниже красной ручкой мамы: “Молодец, но почерк ужасный”. Он помнил это. Нет, не сам дневник. Помнил чувство. Как будто ты принёс домой маленькую победу, а её обтерли тряпкой, потому что на ней была пыль.

Третья — билет на поезд. Москва — Санкт-Петербург. Год: когда ему было двадцать два. Он тогда хотел уехать. Не просто на выходные. Совсем. Ему предложили стажировку в маленьком издательстве. Зарплата смешная, комната у знакомого, перспективы туманные. Но он ходил неделю как пьяный от возможности, что жизнь может быть не только районом, матерью, институтом, случайной работой и осторожностью. Мама тогда сказала: “А если не получится? Ты же у меня один. Отец вон тоже всё куда-то собирался”. Она плакала на кухне. Не громко. Громко было бы легче. Тихие слёзы матери — это самый дешёвый и самый прочный клей. Он остался. Потом всем говорил, что сам передумал. Потом поверил. Потом не простил ей то, чего сам не сделал.

Четвёртая вещь — фотография. Та самая с пляжа. Он маленький в панамке, мама молодая, смеётся. Но здесь фотография была другая. На обороте было написано: “Андрюша. Море. Первый раз счастливый весь день.” Мамин почерк. Не старый, как в блокноте, а молодой, уверенный. Он долго смотрел на фразу “счастливый весь день”. Ему казалось, что он всегда был сложным ребёнком. Серьёзным, тревожным, немного злым. А тут выяснялось, что был день, когда он был счастливый весь день, и мать это заметила. Записала. Сохранила. А потом они оба почему-то забыли, что такое возможно.

Последней в коробке лежала маленькая бумажка. Не вещь даже. Сложенная вчетверо. Андрей развернул.

На ней было написано:

“Мне нужно, чтобы ты сказала: я верю, что у тебя получится.”

Он не помнил, чтобы писал это. Может быть, и не писал. Может быть, такие записки пишутся не рукой. Они просто появляются там, где человек слишком долго ждёт одну фразу.

— Это не моё, — сказал он.

Женщина за окном посмотрела на него.

— А чьё?

— Не знаю.

— Удобный ответ. Часто временно помогает.

— Я не просил её говорить такое.

— Конечно. Вы просили иначе.

— Как?

— Молчанием. Раздражением. Отъездами, которые не случились. Обидой на каждую её осторожность. Фразой “мам, ты всё равно не поймёшь”. Фразой “не начинай”. Фразой “я сам”. Люди редко просят прямо то, что им действительно нужно. Особенно если однажды уже решили, что не дадут.

Андрей положил бумажку обратно, но пальцы не отпускали.

— Она не умела, — сказал он вдруг.

— Что?

— Верить так. Вслух.

— Вот.

— Что “вот”?

— Первый честный ответ иногда выглядит не как признание, а как оправдание другого человека. Осторожнее. Тут легко перепутать.

— Я её не оправдываю.

— А надо?

— Не знаю.

Женщина кивнула.

— Хорошее состояние. В нём ещё можно что-то услышать.

Она достала из коробки билет на поезд и положила перед ним.

— Расскажите.

— Что?

— Про этот билет.

— Нечего рассказывать.

— Тогда расскажите “нечего”.

— Мне предложили работу, — сказал он. — Или стажировку. В издательстве. Там знакомый знакомого. Нужно было уехать. Мать сказала, что я не справлюсь. Что это несерьёзно. Что надо закончить институт, найти нормальную работу. Что в Питере сырость. Что у неё сердце. Что отец тоже мечтал, а потом... — он махнул рукой. — В общем, я остался.

— Из-за неё?

— Да, — сказал он автоматически.

Женщина за окном ничего не записала.

— Что?

— Ничего.

— Вы не верите?

— Я не священник и не следователь. Мне не надо верить. Мне надо выдать то, что числится.

— Тогда почему молчите?

— Потому что вы сами слышали, как это прозвучало.

Андрей почувствовал злость. Она снова пришла, знакомая, благодарная.

— Она правда давила.

— Верю.
— Она правда плакала.
— Верю.
— Она правда заставила меня чувствовать, что если я уеду, то брошу её.
— Верю.
— Тогда?
— А билет кто сдал?
Он посмотрел на неё.
— Что?
— Билет кто сдал?
Андрей молчал.
— Мать?
— Нет.
— Отец?
— Он уже тогда с нами почти не жил.
— Издательство?
— Нет.
— Кто?

Он хотел сказать: “Неважно”. Но это место явно не принимало “неважно”. Здесь даже детские резинки выдавали по документам.

— Я, — сказал он.
— Громче.
— Я сдал билет.
— Почему?
— Потому что...
— Потому что испугался, — сказал он.
Женщина за окном закрыла книгу.
В очереди кто-то тихо выдохнул. Может, он сам.
— Чего? — спросила она.
— Что не получится.
— Дальше.
— Что уеду, провалюсь, вернусь, а она скажет: “Я же говорила”.
— Дальше.
— Что она окажется права.
— Дальше.
Он сжал билет.
— Что я обычный.

Женщина за окном достала штамп и поставила на билете печать.

Андрей прочитал.

НЕ ВЫДАНО: МАТЕРИНСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ.

Ниже другой печатью:

ЧАСТИЧНО НЕ ПОЛУЧЕНО ПО ВИНЕ ВЫДАЮЩЕЙ СТОРОНЫ.

ЧАСТИЧНО НЕ ПРИНЯТО ПО СТРАХУ ПОЛУЧАТЕЛЯ.

— Отлично, — сказал Андрей. — Теперь у меня и тут совместная ответственность.
— Вы хотели, чтобы вся вина осталась у матери?
— Я хотел, чтобы хоть где-то было понятно, кто виноват.
— Это вам в предыдущий кабинет. Там диагноз выдали.
— Она не поддержала меня.
— Да.

— Она должна была сказать: “Езжай, я справлюсь”.

— Возможно.

— Она не сказала.

— Не сказала.

— Почему?

Женщина посмотрела куда-то за его плечо. Андрей обернулся.

В глубине кабинета, у стеллажа с табличкой **“То, чего не умели дать, потому что сами не получили”**, стояла молодая женщина. Сначала Андрей не понял, кто это. Потом понял — и внутренне отступил, хотя телом остался на месте.

Это была его мать.

Перед ней стояла другая женщина — сухая, строгая, с лицом, похожим на плохо закрытую дверь. Бабушка Андрея. Он помнил её старой. Здесь она была моложе, но взгляд тот же: осуждающий, быстрый, хозяйственный.

— Нечего нюни распускать, — сказала бабушка. — Все растили, и ты вырастишь. Мужики такие. Не ты первая. Ребёнка накормила? Полы помыла? Вот и не придумывай себе страданий.

Молодая мама молчала. Только качала маленького Андрея. Он спал. Он ничего не знал. Дети вообще спят внутри чужих драм с удивительным доверием к миру.

— Мне страшно, — сказала молодая мама очень тихо.

Бабушка фыркнула.

— Страшно ей. Ты мать теперь. Матерям некогда страшно.

Картинка дрогнула. Исчезла.

— Не надо, — сказал он.

— Что?

— Не надо сейчас показывать, что ей тоже было плохо.

— Почему?

— Потому что я тогда как будто не имею права злиться.

Женщина за окном посмотрела на него внимательно.

— Имеете.

— Но?

— Нет “но”. Имеете. Вас действительно не поддержали. Вас действительно пугали вместо того, чтобы благословить. Вас действительно удерживали тревогой. И вы действительно сделали из этого единственную причину, чтобы не узнать, что будет, если вы рискнёте.

Андрей усмехнулся. Глаза щипало. Наверное, от ламп.

— Вы тут очень любите честность.

— Нет. Мы её терпим. Любить её трудно.

Она достала из коробки дневник за шестой класс.

— Это тоже оставить?

Андрей посмотрел на запись: “Молодец, но почерк ужасный”.

— Она всегда так, — сказал он. — Всегда находила “но”.

— А вы?

— Что я?

— Вы научились слышать только “но”.

— Значит, я сам виноват? — спросил он.

— Вы очень хотите выбрать одну корзину. “Она виновата” или “я виноват”. Так легче носить. А правда обычно как ваш пакет.

— Клетчатая?

— Тяжёлая и набита разным.

Он невольно посмотрел на пакет. Внутри лежали мамины тапочки. И его носки. И блокнот с фразой “Андрею не говорить, занят”. И, возможно, теперь вся эта проклятая коробка.

— Что мне с этим делать?

— Ничего.

— Как ничего?

— Недополученное нельзя получить задним числом. Можно только перестать требовать его с прошлого.

— А с матери?

— Вопрос интереснее: вы хотите получить это от неё сейчас или хотите, чтобы она признала, что не дала тогда?

Он молчал.

— Это разные очереди, — сказала женщина.

— Я хочу, чтобы она поняла.

— Что?

— Что мне было больно.

— Говорили ей?

— Она бы обиделась.

— То есть нет.

— С ней невозможно.

— С живыми людьми часто невозможно. С мёртвыми ещё сложнее.

Фраза ударила спокойно. Без предупреждения. Андрей поднял глаза.

— Она не умрёт.

— Я этого не говорила.

— Но вы намекаете.

— Я говорю, что у живых есть неприятное свойство становиться мёртвыми. Иногда раньше, чем мы подготовим речь.

— Что вы можете выдать? — спросил он.

Женщина за окном слегка улыбнулась. Не радостно. Скорее так улыбаются врачи, когда пациент наконец перестаёт спорить с температурой.

— Не то, что вы хотели.

— А что?

Она достала из нижнего ящика небольшой предмет и положила перед ним.

Это был ключ.

Обычный маленький ключ. Похожий на ключ от старой квартиры или почтового ящика.

К нему была привязана бирка. На бирке написано:

“Право не ждать идеальной матери, чтобы начать быть живым сыном.”

Андрей взял ключ. Он был холодный.

— И что он открывает?

— Следующий замок.

— Какой?

— Обычно тот, на который человек дольше всего смотрит и делает вид, что двери нет.

— Вы всегда так отвечаете?

— Только когда прямой ответ не выдержит получатель.

Она закрыла коробку, но не отдала её ему.

— А это?

— Останется здесь.

— Почему?

— Потому что это не надо носить дальше целиком. Вы уже посмотрели.

— А если мне понадобится?

— Поверьте, вы и так всё запомните хуже, чем хотелось бы, и лучше, чем сможете вынести.

Она поставила коробку на стеллаж. На полку с табличкой: **“Недополученное, признанное частично.”**

— Частично? — спросил Андрей.

— Полностью признают обычно ближе к концу. Иногда слишком близко.

— Вы оптимистка.

— Я работник выдачи. Нам оптимизм не положен по инструкции.

Сзади раздался детский голос:

— Дяденька.

— Вы заберите своё “я верю”, — сказала она.

— Что?

Она показала на бумажку, которая лежала у окна. Ту самую: “Мне нужно, чтобы ты сказала: я верю, что у тебя получится.”

— Оно ваше. Если тут оставить, его кто-нибудь всё равно не выдаст.

Андрей посмотрел на женщину за окном. Та кивнула.

— Некоторые фразы приходится носить самому, пока не научишься говорить их себе без отвращения.

— Звучит как плакат в кабинете психолога.

— Да. Но иногда даже плакаты правы. Это их не оправдывает, конечно.

Динамик под потолком щёлкнул.

— Кабинет недополученного завершён. Пациент Ковалёв Андрей направляется в Танц-зал семейных обид. Осторожно: скользкий пол, повторяющиеся движения.

— Нет, — сказал Андрей сразу. — Подождите. Мне надо к матери.

Женщина за окном посмотрела в книгу.

— По расписанию сначала танец.

— Я не танцую.

Из коридора донёсся голос Тамары Ильиничны:

— Все так говорят, милоч. Особенно те, кто уже сорок лет кружит по одному и тому же месту.

Он сжал ключ в ладони. Металл впился в кожу.

— А если я не пойду?

Тамара Ильинична стояла в дверях. За её спиной мерцал жёлтый свет.

— Тогда будете танцевать там, где стоите. Так обычно и происходит в семьях.

Он взял пакет крепче и пошёл к двери.

На пороге обернулся. Женщина за окном уже принимала следующего посетителя — пожилую с шарфом.

— Что хотите получить? — спросила она.

— Чтобы он тогда остался, — сказала пожилая.

— Год?

— Всю жизнь.

Андрей вышел, не дослушав. Потому что понял: если останется ещё на минуту, то начнёт слышать не чужие истории, а общий язык всех людей, которые однажды чего-то не получили и решили, что теперь это объясняет всё.

За дверью пахло полировкой, мокрой шерстью, больничным спиртом и чем-то старым, праздничным, давно испорченным. Музыка стала громче.

Тамара Ильинична шла впереди.

— Добро пожаловать, — сказала она, — в место, где все знают шаги наизусть и всё равно наступают друг другу на ноги.

— Это обязательно?

— Нет. Но вы же любите семейные традиции.

— Не люблю.

— Тогда странно, что так бережно их храните.

И перед Андреем распахнулись двери Танцзала семейных обид.

Глава 4. Танцзал семейных обид

Танцзал семейных обид был устроен в бывшем актовом зале, если у больниц бывают актовые залы для тех, кому уже поздно аплодировать. Высокий потолок, мутные люстры, паркет, натёртый до скользкой желтизны, стены цвета старой простыни, вдоль них — стулья, на стульях — люди с лицами, которые можно увидеть только на семейных праздниках после третьего тоста и первого честного замечания. Слева стоял рояль, укрытый белой больничной простынёй, как покойник, который в молодости умел играть. Из старого динамика под потолком хрипел вальс. Не настоящий вальс, а его пожилая родственница: мелодия спотыкалась, шипела, иногда заедала на одном обороте, будто тоже никак не могла выбраться из семейного сценария. На входе висела табличка: **“ТАНЦЗАЛ СЕМЕЙНЫХ ОБИД. Партнёры выдаются по внутреннему сходству. Менять партнёра бесполезно.”**

Андрей остановился на пороге и сразу понял, что это место ему не нравится. Не потому что было страшно. Страшные места хотя бы честны: там темно, там скрипит, там за углом кто-то готов испортить тебе вечер. Здесь было хуже. Здесь было узнаваемо. Пахло полиролью, пылью, чужими духами, мокрой шерстью, больничным спиртом и чем-то сладковатым — как в ДК, где когда-то проводили выпускные, юбилеи, собрания жильцов и концерты детей, которые ещё не знали, что взрослые будут хлопать им не от восторга, а потому что так положено. В центре зала танцевали пары. Но танцевали странно. Каждая пара повторяла один и тот же набор движений. Мужчина шагал вперёд, женщина отступала, потом она хватала его за рукав, он вырывался, она обиженно поворачивалась, он возвращался, виноватый и злой, они кружились, наступали друг другу на ноги, расходились на два шага и снова сходились. У другой пары всё было наоборот: мать вела взрослую дочь, дочь улыбалась, улыбка была тонкая, как трещина на чашке, потом резко освобождала руку, мать хваталась за грудь, дочь бросалась обратно. Третья пара вообще не касалась друг друга: старик и мужчина средних лет стояли напротив, делали шаг вперёд, шаг назад, кивали, будто соглашались, и ни разу не смотрели в глаза.

— Я не танцую, — сказал Андрей.

Тамара Ильинична стояла рядом, скрестив руки на груди. В этом зале она выглядела не медсестрой, а вахтёршей на входе в чужую наследственность.

— Все не танцуют, — сказала она. — Пока не включают музыку.

— Я серьёзно.

— А тут, милоч, все серьёзно. Поэтому и смешно.

Она кивнула на паркет.

— Видите вон ту пару?

— Мама, перестань, — сказал мужчина. — Я сам.

— У тебя воротник криво.

— Мне сорок семь лет.

— И что? Воротник от возраста ровнее не становится.

— Ты всё время лезешь.

— Я забочусь.

— Ты контролируешь.

— Я мать.

— Это не лицензия.

— Ах вот как ты со мной.

— Это не танец, — сказал Андрей.

— Конечно танец. Просто без удовольствия. В семьях такое любят.

— Зачем они это повторяют?

— Потому что знают шаги. Новые учить страшнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.